

НА ПОЛЯХ КНИГИ

*Человек не выявляет себя в истории,
он пробивается сквозь нее.*

Р. Тагор

Способность думать путают с умением рассуждать. Одно другого не исключает, но умение — дело наживное, а думать — это дар, равный любому творческому дару, и такой же редкий. И, как любой творческий дар, это источник радостей и мучений. Юна Вертман, знавшая Якобсона совсем еще молодым, вспоминала: «Периоды интеллектуального спада, когда не думалось и не писалось, он и в молодости воспринимал как катастрофу».¹⁾ Это свидетельство близкого друга, менее близким памятной «периоды подъема». Якобсон даже в застолье не любил беспредметных разговоров и обычно задавал тон, разговор разом укрупнялся и переходил в монолог. Могло показаться, что он выговаривается на людях, если бы не одна особенность. Его напористость не раздражала, ей не противились — и не только потому, что энергия мысли вообще заражает и подчиняет. Нет, сам предмет разговора, часто случайный, неожиданно становился важным, затрагивающим каждого. Что-то подспудное и неотступное просвечивало в накате красноречия, как будто Якобсон в очередной раз, пользуясь возможностью, выверял главные для себя мысли. В сущности, его спичи были свежими мазками непрерывно создаваемого полотна, и выговориться ему было необходимо, как необходимо художнику отступить и взглянуть с расстояния. Попал в цель или промахнулся? По разным причинам дневники в наше время — занятие редкое. Якобсон стал вести дневник лишь в последние годы жизни, утратив собеседников.

Вот почему все, что думалось и писалось, сохраняет тембр его голоса. Его тексты звучат, и даже в такой литературно отделанной вещи как "Конец трагедии"²⁾ это ощутимо физически. Все наговоренное Якобсоном, выплеснутое неотступным, растворилось в воздухе (и значит — не исчезло бесследно). Все написанное (или записанное другими) становится наконец доступным прочтению. И время, наверно, задумается над общим смыслом сказанного.

«Центральная проблема — человек в истории» — эту порядком затасканную фразу, извлеченную из статьи советского критика, Якобсон счел «очень умной» ("Конец трагедии"). И тут же пояснил, почему: «Эту проблему решить окончательно нельзя, она решается непрерывно всей жизнью и всем искусством, и она будет решаться, пока жив род людской... Блок — один из «решателей» этой проблемы». Якобсон тоже. Он решал ее всей жизнью и всю жизнь. Это его сквозная тема, начиная с полудетской поэмы "Человек и век"³⁾ и кончая поздними, незадолго до гибели написанными строчками: «...Формула Кестлера: «Человек — ошибка эволюции». Порой с этим трудно не согласиться. Но иногда хочется все же поспорить несколько с этой самой эволюцией, немного исправить — хоть в собственном лице — ее (увы, весьма возможную!) ошибку. И вдруг начинаешь уповать на неокончательную отпетость людской породы» (Якобсон вполне разделял блоковское убеждение — когда о нравственности говорят торжественно, с нею не все в порядке).

Менее всего рационалист, он верил в разум и не доверял его вердиктам. Кому-то это как с гуся вода, но он действительно уважал разум, ценил его мощь и от мышления, своего в первую очередь, требовал четкости и честности. И для него такое противоречие было достаточно трудным; свидетельством те страницы "Романтической идеологии", где он пытается разрешить конфликт. Исходная посылка: «Идеи... носят на себе в момент

¹⁾ Юна Вертман. "Странички о Толе", сб. ПОЧВА И СУДЬБА. Вильнюс-Москва, Изд-во "Весть", 1992. с.305, а также Журнал "22". №129 за 2003 г. (Прим. Публикаторов интернет-издания)

²⁾ Анатолий Якобсон. "Конец трагедии". Нью-Йорк, Издательство им. Чехова, 1973. Переиздание в России: Вильнюс-Москва, Издательство "Весть", 1992. (Прим. Публикаторов интернет-издания)

³⁾ См. раздел "Стихи А.Якобсона" на Мемориальной интернет-странице Анатолия Якобсона: <http://www.antho.net/library/yacobson/index.html> (Прим. Публикаторов интернет-издания)

рождения сильнейший отпечаток личности творца», но те же идеи, «отчуждаясь, сплошь и рядом превращаются в собственную противоположность... идеи в чужих руках, в чужих мозгах ополчаются на своих первоносителей». Другими словами, творческий акт не может быть злонамеренным — зло в нетворческом присвоении, в корыстном использовании духовных усилий. Рассуждение привлекает не доказательностью («рожденная» идея может быть сколь угодно бредовой), а безотчетной верой в изначальность добра. И здесь Якобсон честно прерывает себя: «Так бывает: идея отчуждается, не переходя по наследству, а в сознании одного человека».

Это Блок мог сказать со спокойным отчаянием:

Творческий разум осилил, убил.

Но в Якобсоне все бунтует при мысли, что дух неотвратимо вязнет в косной материи. Он ищет объяснений: «Во всех самоотчуждаемых идеях всегда есть какие-то объективные задатки самоотчуждения, есть какая-то червоточина, за которую и хватаются смердяковы». И вот доказательство от обратного, желанный знак «неокончательной отпетости людской породы» — непротivление злу насилем: «Среди присяжных толстовцев было немало позеров и святош. Но среди них не было ни одного палача, ни одного убийцы. И не могло быть!... В этом направлении идея неотчуждаема».

Любовь к Толстому не требует объяснений, и отвращение к насилию тоже. Но ведь непротivление и всепрощение — не толстовская идея, и на ней иной «отпечаток личности» — отсвет Тайной Вечери и тень Голгофы. Как говорили тогда, обратимся к Писанию. Предсмертное застолье стихло, допита круговая чаша, тринадцать теней выходят в пасхальную ночь. И вот последнее наставление ученикам: «... продай одежду свою и купи меч... Они сказали: Господи! вот, здесь два меча. Он сказал им: довольно».⁴⁾

Что говорить, первые христиане — не нынешние церковники. Но вот первый из первых — Петр, у которого не доставало сил убить, защищая Учителя («имея меч, извлек его и ударил раба первосвященника, и отсек ему правое ухо»,⁵⁾ но достало стать палачом (сказал Сапфире: «Вот, входят в двери погребавшие мужа твоего; и тебя вынесут»)).⁶⁾

И все же, как бы преувеличенно ни звучало, Якобсон тысячу раз прав: «Если мы еще не одичали в конец, то это потому, что духовная атмосфера, нравственный климат нашей эпохи созданы не только фюрерами всякого рода, но в большей мере Львом Николаевичем Толстым».

Русский интеллигент сегодня, как и век назад, обречен выбирать между Толстым и Достоевским — так он устроен. Откликаться обоим с одинаковой силой способны лишь редкие натуры, редкой душевной чуткости, либо вовсе ее лишенные, всеядные от собственной дряблости. И дело здесь в естественном отклике, в резонансе, а не в выборе двух дорог; выбор, думается, мало что меняет. В этом смысле Якобсон был «толстовцем», и, подобно Толстому, отвергал насилие инстинктивно, не из боязни насилия, свойственной слабым, но из боязни, что сам окажется способным на него. Толстого он любил по-настоящему — благодарно. Недаром это имя так часто возникает в его прощальном дневнике: «...кажется, что Толстой — зол, безжалостен. Ко мне он добр. Добра сама материя его прозы. Добра, здорова и животворна, как ни у кого, кроме Пушкина». И еще о Толстом: «Гармония: здоровое страдание, здоровая боль». Пушкин и Толстой с наибольшей силой воплощали желанный для него образ человека: «Встречаются люди (не слишком часто!), обладающие особым даром жизни, а именно: ее полнотой. Другими словами, это — то проявление жизни, где ее естественное единство и цельность преобладают над ее же противоречиями... Это страстная гармония». Обладал ли он сам такой полнотой? Для невнимательного взгляда — жизнь в нем была ключом, для участливого — очевидной становилась неприкаянность, несчастливость и какая-то беззащитная искренность. Все в нем было широко, размашисто, бурно, от него дышало жаром, и другие

⁴⁾ Евангелие от Луки, 22. (Прим. Публикаторов интернет-издания)

⁵⁾ Там же. (Прим. Публикаторов интернет-издания)

⁶⁾ Супружеская чета, Анания и Сапфира, продав имущество, утаили от христианской общины часть денег и, призванные поочередно на допрос к Петру, "пали бездыханными у ног его" (Деяния апостолов, 5). (Прим. А.Гелескула)

рядом с ним выглядели какими-то прохладными, малокровными. Другие казались застегнутыми, он — распахнутым настезь. Но это не делало его легким и не облегчало ему жизнь, да и просто — общение. О близком человеке, соратнице по правозащитному движению, он сказал, словно глядя в зеркало: «Она как-то задышалась от собственной огромной — внутренней — нервной и духовной деятельности. И создавала вокруг себя напряжение, как бы поле. И с ней бывало тяжело. Но я же и сам тяжелый человек, я знаю».

Первейшим его душевным движением было доверие — он начинался с доверчивости, безотчетной, пылкой, мальчишеской. У нашего поколения, в сущности, не было детства, зато юность — долгая, затяжная; должно быть, и Яacobсон был моложе, чем казался. Судьба его словно предсказана Бабелем: «... доверчивый к людям, он обижал их восторгами первой любви, люди не прощали ему этого и обманывали».⁷⁾ Любили, но обманывали. История с одним его другом, который оказался давним сотрудником органов и вполне успешным провокатором,⁸⁾ — это особый случай, крайний. Речь о другом. Яacobсон не умел приспособливаться, и неизбежность обмана была в том, что он предлагал больше, чем просили, и получал меньше, чем нуждался.

Странно, но от его хлебосольной, шумной и щедрой, застольной природы веяло необъяснимой бездомностью, бродяжьей тоской проселков, чем-то смутным, прощальным, уходящим в непогоду. Быть может, и вправду его приютом на земле была русская поэзия. Его слова, отнесенные к Блоку: «Трагическая раздвоенность, боль разрыва есть тоска по гармонии» — звучат признанием. Анатолий Яacobсон был натурой трагической — и в его понимании трагизма, и в самом обыденном.

И еще одно. Он хорошо знал силу слепых порывов, не рад был своей необузданности и лучше многих понимал, что человек неустойчив и жаждет опоры, твердой земли под ногами, а не услужливых качелей (или — «как бы это выразиться поприличнее — некой диалектики».⁹⁾

Яacobсон не терзался религиозными исканиями — христианином себя не считал, иудаизм его не интересовал (по крайней мере, до отъезда), буддизм отталкивал (проповедью безучастия). Правда, искушенные христиане полагали, что только неведение касательно самого себя препятствует ему креститься. Но, думаю, ближе к истине были те грузчики-арабы на израильской мельнице, что таскали с ним мешки и, приглядываясь к странному напарнику, называли его «божьим человеком», не вдаваясь в конфессиональные тонкости.

Ставя во главу угла жизнь — «бесконечное достоинство отдельной души» — он с горечью убеждался, что идеи, рожденные жизнью, легко оборачиваются против нее. Единственной привлекательной для него идеологией был анархизм, но как историк Яacobсон знал его уголовные ипостаси, а «великая идея безвластия» витала где-то в прекрасном далеке, по соседству с царством Божиим, и оставалась «или недостижимым для человечества идеалом, или вершиной, куда ведет длинный путь культурного развития» ("Конец трагедии").

Знаменательно здесь будничное «культурный» вместо, скажем, неопределенно-возвышенного «духовный». Культура — невзрачное слово, мертвенное и притом чужое, но другого не придумано, и остается брать его как условный знак, подразумевающий не оперные театры и картинные галереи, а неустанное, муравьиное и самое главное человеческое дело, которое переживает людей и народы и единственное дает смысл нашим недолгим судьбам. Культура — это «рост мира» (Блок). Говорят, что дети,

⁷⁾ И.Э. Бабель. "История моей голубятни". (Прим. А.Гелескула)

⁸⁾ Речь идет о Сергее Хмельницком. (Прим. Публикаторов интернет-издания)

⁹⁾ «С помощью этой самой диалектики было доказано, что правда, совесть, добро — вещи сугубо относительные. Была выявлена условность любви — и тем самым утверждена безусловность ненависти. И само собой вышло, что насилие — повивальная бабка истории, оно еще (по совместительству) ее, истории, локомотив. И все невдомек нам, что хоть в добре да в правде и есть нечто относительное, условное, но то безотносительное, безусловное, что в них есть, — бесконечно важнее» ("Конец трагедии"). (Прим. А.Гелескула)

довольно долго, до трех лет, не различают цвета. Культура — не умение читать и даже не книги и симфонии, но то, что входит в состав крови, становится нравственным инстинктом и позволяет отличать белое от черного. А отличать надо быстро и безошибочно, потому что жизнь не отводит на это лишнего времени.

«Стройте дом невидимый» — эти слова двадцативековой давности были напоминанием. Задолго до них началось строительство, и строили всем миром, как строят и по сей день. Кто кладет кирпичи, кто крадет, но участвуют все, потому что культура — залог жизни, ее инстинкт самосохранения. Это знают даже троглодиты, вымирающие в джунглях Амазонки. Наш век обожествил технику, но техника — лишь инструмент, оружие. Ножом можно резать хлеб, а можно и горло. Техника — мутант культуры, ее побочный продукт, и главное, что роднит ее с культурой — это преодоление пространства и времени.

Для Яacobсона в отличие от идей — произвольной схемы, прилагаемой к жизни, — культура неотчуждаема («она обладает такой же структурой, как жизнь»). Это «живая преемственность человеческих связей... непрерывная цепь завещаний и исполнений». Культура, — заключает он — «как и жизнь, есть достоверность, есть правда» ("Конец трагедии"). Хочется добавить: это и свобода воли. Культура, ставя перед выбором, оставляет человека наедине с собой. Искусство не может, не умеет сгонять людей в стадо. Это умеет антикультура, для того она и украшает себя знаками отличия — соц, поп — наподобие армейских «штаб», «лейб» и «унтер».

Невзрачное слово «культура» было для Яacobсона решающим в его споре с историей и главным свидетельством в пользу человека. В сущности, лишь об этом он и писал — исходя из той культуры, к которой принадлежал, в которую верил и которой не уставал гордиться: «Во всей русской культуре сердце билось одно: она была *милосердна*, была *великодушна* — и в этом ее монолитность, в этом ее мощь, в этом она превосходила культуру Запада... Жестокие идеи были органически чужды ей». Вот почему он не раз и не два повторяет как заклинание слова Блока: «Культуру убить нельзя».

Блоковское «нельзя» означало «невозможно, неосуществимо». Сегодня вряд ли у кого осталась подобная уверенность. Возможно все, и сегодня «нельзя» звучит как «не надо», обращенное то ли к убийцам, то ли к самоубийцам. Смертоносная техника, смертоносная экология — реальности неоспоримые. Но жизни противостоит не смерть, а нечто худшее — вырождение.

Культура, увы, не скатерть-самобранка. Это вечная пустыня с редкими оазисами и долгими караванными дорогами от колодца к колодцу. Минуло время, когда Анатолий Яacobсон мерил эти меченые костями дороги — и снова, уже без него, бредем мы в поисках воды. Одичание — выражаясь изысканно, процесс спонтанный. Оно наступает, как сыпучие пески.

В 68-м году, в возрасте Христа, Яacobсон шагнул навстречу судьбе. Годом раньше в своей школе он выступил с лекцией о романтической идеологии¹⁰⁾ и, как вспоминает Ю.Вертман, накануне страшно волновался: «Боюсь, вдруг что-нибудь сорвется. Мне обязательно надо проговорить то, что я задумал, — это сейчас для меня важнее всего». В это «всего» входило и прощание со школой. Темы той его давней лекции сейчас мусолятся с базарной бойкостью. Тогда это прозвучало впервые и разом положило конец учительству Яacobсона.

Не для него одного 68-й год был переломным. Произошло вторжение в Чехословакию и засквозило сибирским холодком. «Не слышны в стране даже шорохи» — пели тогда на мотив "Подмосковных вечеров".

«Достоинство человека — писал Яacobсон — не в том, чтобы подчиниться «исторической необходимости», если эта необходимость враждебна человеку, а как раз наоборот... Лучше дать ей проложить себе дорогу через твой труп, чем помогать (участием или даже безучастностью) прокладывать дорогу через трупы других». После ареста в 68-м году Натальи Горбаневской Яacobсон возглавил подпольный бюллетень "Хроника текущих

¹⁰⁾ Лекция "Из поэзии 20-х годов" была прочитана 9 марта 1968 года. (Прим. Публикаторов интернет-издания)

событий".¹¹⁾ Это был вызов молчанию. Яacobсон не раз говорил, что преступления тем безнаказанней, чем они беззвучней.

Он и подпольщиком оказался талантливым: четыре с лишним года могущественнейшая в мире тайная полиция щелкала зубами, выслеживая "Хронику", и не выследила. Думаю, и в этом отчетливо сказалась скрытая, по крайней мере не самая явная черта его натуры — внутренняя собранность. Она не бросалась в глаза — размашистые краски как бы скрадывали твердый рисунок личности. Он вообще любил четкость, логику и даже в обыденной речи был афористичен. Иные афоризмы, можно сказать, вошли в историю: однажды, встретив на вечернем Арбате отставного Молотова, он участливо осведомился: «Как поживает твой друг Риббентроп?»

Кстати сказать, Яacobсону очень по душе было "золотое правило" Георга Лихтенберга: «Судить о человеке не по его убеждениям, а по тому, что эти убеждения из него делают». В дневнике он сформулировал один вариант этого правила: «Не судить людей (исключение — нелюди)».

Внутренняя собранность Яacobсона проявлялась в существенном, а в мелочах не раз подводила его и порой серьезно. Закончив "Конец трагедии", он забыл авоську с рукописью то ли на продуктовом, то ли на винном прилавке Военторга,¹²⁾ когда спохватился, оказалась, что рукопись уже проследовала к заведующей отделом, от нее — к директору, а из рук не менее любознательного директора — на Лубянку. Впрочем, до этой гавани доплыл не единственный экземпляр, поскольку Яacobсон отослал рукопись в два или три журнала.¹³⁾ Как бы то ни было, его спешно изгнали из профкома работников культуры и тем заменили гражданский статус литератора на тунеядца.

В том же 68-м году он начал много и серьезно переводить¹⁴⁾ (переводил и прежде, но силы и время у него, учителя по призванию, отбирала школа). Эту сторону его жизни трудно обойти молчанием.

Себя как переводчика он недооценивал и, боюсь, не слишком ценил. Сколько помню, чужие работы занимали его больше своих — там он находил искру божью, у себя же не находил либо сомневался. Было в этом душевное бескорыстие, которое вообще покоряло в нем с первой же встречи; была, конечно, и присущая лишь одаренности неуверенность. И была особинка, знак личности. Тогда у литераторов, тем паче молодых, в моде было гениальничать — Яacobсона же от самоуверенности и то передергивало. Да и много позже, когда его приняли в Европейский ПЕН-клуб, он комментировал это событие, словно оправдываясь:

— По уставу членом может быть любой способный и честный литератор. Я не бездарен и уж тем более не бесчестен.

С бездарностью он бы еще смирился.

¹¹⁾ Это общеизвестно. Но вряд ли известно, что Яacobсон был редактором, а по сути — соавтором ряда книг, ходивших в рукописи и позже изданных на Западе. Свидетельства пережитого, эти книги, написанные бывшими (и будущими) узниками, известностью обязаны мужеству и тяжкому опыту авторов, а Яacobсону — литературным тактом и выразительностью. Я свидетель его работы (по крайней мере, над двумя такими книгами) и думаю, что хотя бы упомянуть о ней следует. (Прим. А.Гелескула)

Вероятнее всего, речь идет о книгах "Мои показания" А.Марченко и "Полдень" Н.Горбаневской. (Прим. Публикаторов интернет-издания)

¹²⁾ Ошибка автора: авоська с рукописью была забыта на прилавке Военторга другим человеком. (Прим. Публикаторов интернет-издания)

¹³⁾ Отнюдь не из авторского самообольщения. Дело в том, что согласно уголовной практике тогдашних судебно-литературных процессов уклонение автора от попытки напечатать заведомо непечатное считалось отягчающим вину обстоятельством. Сейчас уже мало кто помнит эти юридические нюансы. (Прим. А.Гелескула)

¹⁴⁾ Преимущественно с испанского, и по причинам не только творческим. Не так-то легко было Яacobсону получить работу. Переводы ему заказывал В.С.Столбов. Мастер перевода, подаривший нам, в частности, "Сто лет одиночества", он был человеком редкой цельности, и то, что иным фрондерам казалось рискованным, для него было естественным. Кстати, он единственный тогда давал работу еще одному отверженному — Иосифу Бродскому. (Прим. А.Гелескула)

Однажды, заговорив о переводческом семинаре, куда ходил не один год, он сказал:

— Меня научили главному: «Пиши как можешь — переводы лучше, чем можешь».

Учителя у него и вправду были на зависть — Мария Петровых и Давид Самойлов. Но формула наверняка принадлежала ему самому. Стоит задуматься, кого он переводил. Стихи, оплаченные жизнью, — он и принимал их в себя, как чужую, вверенную ему жизнь. Обходиться с ней «хуже, чем можешь» полагал бесчестным.

Даже накануне отъезда он переводил Петрарку — последнее, что переводил на родине, без малейшей надежды напечатать, и продолжал переводить вне ее, тоже без малейшей надежды. Его отношения со словом были любовью, а любовь «долго терпит и никогда не перестает».¹⁵⁾

А ведь было уже не до переводов. Осенью 72-го года начались допросы. Показания, данные на Якобсона, были скудными ввиду продуманной им конспирации, а сам Якобсон на заверения следователя: «Тюрьма по вам плачет!» — отвечал: «Пусть поплачет» («Я сперва хотел ему сказать «Пускай она поплачет, ей ничего не значит», но он же не знает Лермонтова»). К этому времени уже практиковалось — в случае недостатка или отсутствия улик — «приглашение к отъезду». Кроме того, свидетели по делу просили «передать своим», что если очередной номер "Хроники" выйдет, Якобсона посадят и скорее всего в психушку. «Свои» собрались и в присутствии Якобсона, лишённого права голоса, постановили прекратить выпуск. Это стало одной из причин отъезда. Якобсон спасал сына, семью, но вместе с тем его отъезд развязывал руки товарищам. Сам он ни минуты не заблуждался относительно своего решения, и на вопросы доброхотов, почему он едет в Израиль, а не туда-то или туда-то (адрес варьировался), где ему будет лучше, сухо отвечал: «Потому и еду».

Рассуждения вроде того, что Якобсон любил вымышленную Россию, которой нет, не было и тем более не будет, что он жил не в России, а в русской культуре, и прочие досужие мысли в том же роде (а таковые высказывались¹⁶⁾) — это чепуха на постном масле. Якобсон жил в той России, которую знал с рождения и любил до гроба, нерассуждающей, телесной любовью. Любил ее воздух, говор, лица, всю ее безалаберную ширь и жилой уют, и ее странную, нерасчетливую и непредсказуемую судьбу. И не была эта любовь головной, как не была и слепой — потому и обошлась ему дорого. «Думать легче, чем любить» — сказал испанский философ.

Была, правда, тень отстраненности, незримая черта, которую Якобсон не переходил. В разговоры о «безднах русской души» и «мерзостях русской жизни» он не вступал убежденно: «Считаю, что русских вправе ругать только русские». Подразумевалось, что это относится и ко всем остальным, будь то евреи или турки. И, кстати, о евреях доводилось слышать от него нелестные вещи. Об «остальных» он вообще высказывался редко, обычно уважительно, но вскользь, как об иностранцах. Родным было русское, а все иное могло казаться лучше, но не становилось дороже.

Сергей Довлатов сказал об эмиграции: «Люди меняют одни печали на другие, только и всего». Честные и чистые слова. Но подобный грустный стоицизм Якобсону был чужд.

В его письме Юлию Даниэлю сказано все.

Дневниковые записи нестерпимы будто скрытая боль:

«Люблю Израиль. Намного ли больше люблю Россию? Да, намного. Израиль люблю, как жизнь, т.е. не так уж сильно. Россию люблю несравненно сильнее жизни. Там, там кости моих людей» — или нескрываемая: «...повторяющийся, неотвязный сон про Россию, что вот я в последний момент не уезжаю, извернулся, переиграл; невысказанная радость («я самый счастливый человек в мире») — и кошмар пробуждения».

И последняя запись:

¹⁵⁾ 1 Послание Коринфянам, 13. (Прим. Публикаторов интернет-издания)

¹⁶⁾ Имеется в виду некролог: Г.Фейн. Памяти Толи Якобсона. Журнал "Континент", 1979. №20. (Прим. Публикаторов интернет-издания)

«Героизм души — жить, героизм тела — умереть». (Цветаева)

Книгу, в которой Яacobсону удалось воплотить себя, он назвал "Конец трагедии". Невольно вспоминается провидческий страх Цветаевой: «Написанное сбывается».

Яacobсон пишет о Блоке: «...кончилась его трагедия: двойственное отношение к жизни («любовь-ненависть») сменилось безразличием к ней». И после пристальных прочтений, жадного вслушивания в обертоны, после трудного спора с поэтом, а не только его душеприказчиками, после долгого вживания, вхождения в его судьбу автор и сам как бы застывает перед внезапно открывшимся целым: «Мы, зрители трагедии, испытываем чувство катарсиса от *всей* трагедии с начала до конца». Это главное. Яacobсон не останавливается на полуправде, и вот почему Блок в его книге предстает не погибающим, а побеждающим.

Пора осознать раз и навсегда, что мартиролог русской литературы — не списки жертв, но имена героев. Любить — по-русски жалеть; кого любят — жалеют. Это понятно, это по-человечески и не должно быть иначе. По умершим плачут — это дальние могут гордиться, а близкие — те горюют, и разговоры о геройстве для них не утешение. И все же героев больше, чем кажется, только не всегда они в доспехах и редко бывают триумфаторами.

Судьба Анатолия Яacobсона трагична, и понять ее надо верно. В понятии «трагический герой» нельзя переставлять ударения: трагический — лишь определение и само по себе предполагает героическое начало.

Наверно, глубже других это сознавал Гегель, которого Яacobсон вообще-то недолюбливал и, быть может, не столько за философскую отмычку в форме диалектики, сколько за философское прекраснодушие и не лишенный самодовольства оптимизм. В изложении кратком и огрубленном мысли Гегеля сводятся к тому, что трагический герой идет навстречу судьбе, не уклоняясь и падает не под ударом, а вместе с ним. Падая, он ломает занесенный меч. Вот что следует помнить. Гибелью он умаляет смерть.

И не его вина, что по телам павших идут мародеры.

Анатолий Гелескул